

«Душа идет своей дорогой...»

Дневники и мемуары в XX веке стали занимать все более заметное место в литературном пространстве. Причина этого достаточно очевидна: «неслыханные перемены и невиданные мятежи», которыми это столетие было отмечено с самого начала, заставило взяться за перо даже тех, кто никогда и не помышлял о литературе: важно было запечатлеть все, что довелось наблюдать. Тем более значимым оказалось слово писателей. К доселе непривычным для себя жанрам обратились Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Георгий Иванов, Илья Эренбург, Константин Симонов — и это лишь самые яркие имена.

Свое место в огромном и многообразном пласте литературы заняли дневники Евгения Шварца. Казалось бы, для него, драматурга-сказочника, описание невымышленного — это отход от природы своего дара. Но получилось по-другому — в его даре открылись новые краски.

Дневник Шварц начал систематически вести в 1942 году в Кирове, куда он был эвакуирован из блокадного Ленинграда: «Года с двадцать шестого были у меня толстые переплетенные тетради, в которые я записывал беспорядочно, что придется и когда придется, — вспоминает он в записи от 16 января 1947 года. — Уезжая в декабре 41-го из Ленинграда в эвакуацию на самолете, куда нам разрешили взять всего по 20 кило груза, я тетради эти сжег, о чем очень жалею теперь. Но тогда казалось, что старая жизнь кончилась, жалеть нечего.

В Кирове в апреле 42-го завел я по привычке новую тетрадь, которую и кончил вчера» (16 января 1947 года). Постепенно структура дневника стала усложняться, его содержание заметно меняется и по способу повествования, и в зависимости от времени и может быть разделено на несколько пластов и периодов.

Поначалу это были записи традиционно дневникового характера, фиксирующие с разной степенью подробности каждодневных событий, они были доведены до начала 1958 года: 15 января Шварц скончался. Но с 1950 года в дневнике параллельно стало формироваться иное по характеру повествование, которое достаточно условно можно назвать воспоминаниями — недаром автор, избегая привычного «мемуары», иронически называл их «Ме». Рамки регулярных записей раздвигаются, Шварц начинает последовательно восстанавливать свою жизнь, реконструировать ее год за годом, с раннего детства. Хронология порой взламывалась, ее нарушали неожиданные повороты памяти, внезапно возникающие ассоциации, заставляющие вновь обращаться к уже описанным событиям. Но такая непоследовательность имела не только психологические причины. Конец 40-х — начало 50-х годов — это вторая волна репрессий, кампания по «борьбе с космополитизмом», которые могли затронуть Шварца, как затрагивали близких ему людей — достаточно вспомнить историю исключения из Союза писателей Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, постановление Политбюро 1948 года, в котором Дмитрий Шостакович был обвинен в «формализме» и «декадентстве». Позже, в 1954 году, Шварц напишет: «Страшно было.

Так страшно, что хотелось умереть <...> Конечно, великолепное правило: “Возделывай свой сад”, но если возле изгороди предательски и бессмысленно душат знакомых, то, возделывая его, становишься соучастником убийц» (6 октября 1954). Даже воспоминания о прошлом не могли быть пространством личной независимости. Поэтому начало следующего цикла ведения дневника можно обозначить 1953 годом — тем временем, которое впоследствии стали называть оттепелью. Ее атмосфера обусловила иную степень внутренней свободы, возможность обращаться к событиям, прежде частью сознательно, частью бессознательно отодвинутым в глубины памяти.

Данное издание воспроизводит дневники, начиная именно с этого периода и с того дня, в который много лет назад Шварц приступил к своим записям: «Сегодня одиннадцать лет с тех пор, как я веду эти тетради» (9 апреля 1953). Не случайно именно в 50-е годы вспоминается самое трагическое, что вошло в его жизнь: репрессии 30-х годов, блокада, эвакуация: «Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот заглядываю» (11 декабря 1956).

Прихотливость ведения повествования, которая и позволила переплестать настоящее с прошлым, обуславливалась тем, что «Ме» создавались не для публикации. Первоначальной, отчетливо сформулированной задачей ведения дневника было стремление овладеть прозой. Драматург по природе своего дарования, человек, всю жизнь писавший стихи, Шварц пытался преодолеть свою «глухонемому» в прозе, при

этом и проза виделась ему по-своему: «...я невзлюбил литературу — всякая попытка построить сюжет — и та стала казаться мне ложью, если речь шла не о сказках. Я был поражен тем, что настоящие вещи, — в сущности — дневник, во всяком случае в них чувствуешь живое человеческое существо Автора, таким, каким был он в тот день, когда писал. И я заставил себя вести эти тетради» (1 июня 1957). «Тетради» являлись для Шварца творческой лабораторией. Он словно писал этюды с натуры, создавал эскизы к портретам с непременным условием — не поправлять самого себя, сохранять непосредственность первых впечатлений, остроту эмоциональной реакции. С подобной точки зрения настоящее и прошлое как объект описания были для него равны. Такие «лабораторные» задачи принципиально отделяют «Ме» от текстов, изначально создававшихся в жанре мемуаров, как «Люди, годы, жизнь» его современника Ильи Эренбурга, и тем более от воспоминаний, сразу задуманных как художественное произведение с элементами вымысла (скажем, «Другие берега» Владимира Набокова).

Таким экспериментальным образом появляются в «тетрадах» отрывки в прозе — несколько рассказов, незаконченная повесть. Когда стало очевидным, что лучше всего удастся воссоздать характер, а не событие, внутри дневников возник замысел, названный Шварцем «Телефонная книжка». Это создание портретов современников, и живых, и уже ушедших, расставленных не в зависимости от их талантов, славы, значимости, а объединенных их причастностью к жизни автора, тем, что все они — герои одного времени. «Взять

нашу длинную черную книжку с алфавитом и за фамилией фамилию, как записаны, так о них и рассказать», — отметил он в своей тетради 19 января 1955 года. К концу 1956-го замысел был завершен, и «Телефонная книжка» обрела самостоятельность — в 1997 году она впервые была опубликована как отдельное произведение и в данное издание не включена.

Но существует ли все-таки в «Ме» некий стержень, объединяющий все многообразие, даже пестроту написанного, которое автор никоим образом не пытался ввести в какие-то рамки?

Заданных рамок — ни содержательных, ни формальных — действительно нет. Но в размышлениях Шварца в большей или меньшей степени проступает общий для разнотипных слоев дневника мотив — судьба его поколения во взаимоотношениях с эпохой, точнее с несколькими эпохами, которые уместились в жизни тех, кто родился перед наступлением XX века. Появившись на свет еще в Российской империи, они прошли через Первую мировую и Гражданскую войны, революцию, в зрелости их не миновала Великая Отечественная. Масштабные исторические события не становятся у Шварца предметом непосредственного изображения, они отражены в микрокосме человеческой личности.

Шварц словно подбирает свои ключи-догадки, помогающие понять суть и причины психологических сдвигов, искажений души в людях своей эпохи: «Пересадка от времени до времени повторяется. Кто может, питается от корней, болеет, привыкая к новой почве. Из почвы военного коммунизма — в почву нэпа,

потом — в почву коллективизации. Категорические приказы измениться. И прежде люди, пережив свою почву, либо работали некоторое время от корней, либо падали. А мы все время болеем. Изменения в искусстве несоизмеримы с изменением среды, мы не успеваем понять, выразить свою почву» (16 мая 1953).

Тема трагической судьбы поколения оказывается столь мощной, что она выдвигает на первый план определение жизненной позиции самого автора повествования (он же герой) в череде сменяющихся исторических реальностей. Ему довелось видеть такие проявления человеческой природы, которые не оставляли места для прекраснотушных иллюзий. Но и при абсолютно трезвом осознании всех безотрадных истин, которые открывала жизнь, «...было очень ясное желание остаться человеком вопреки всему» (2 мая 1957 года). Такой подход при последовательной его реализации требовал не только творческой, но и моральной отваги, — прикосновение происходило к глубинам своего «я». Это обусловило в «Ме» особый уровень откровенности, снятие внутренних барьеров, «скрытности», заставляющей, по собственному определению автора, «о некоторых вещах не разговаривать даже с самим собой». История жизни выстраивалась как история души, как психологическая кардиограмма. Она позволяет понять, как происходило формирование нравственной позиции Шварца, суть которой можно сформулировать так: сохранять человечность, осознавая глубокое несовершенство человека. В сценарии «Дон Кихота» — одной из последних его работ — это названо «трудной рыцарской любовью к людям».

Феномен личности Шварца в том, что ему удалось сохранить верность самому себе. Это поистине его «обыкновенное чудо» — чудо мужества человека мягкого, словно бы не созданного для борьбы.

Он не сломался творчески, подобно многим друзьям своей молодости, так ярко заявившим о себе в начале 20-х годов в группе «Серапионовы братья» и ставших скучными, справедливо забытыми советскими писателями — Михаилу Слонимскому, Константину Федину, Николаю Тихонову — последние двое даже дослужились до высоких постов в Союзе писателей.

Шварц остался порядочным человеком, не предавшим своих друзей — ни живых (как арестованного Заболоцкого), ни погибших (как расстрелянного в 37-м Олейникова). Об этом на шестидесятилетнем юбилее Шварца упомянул Михаил Зощенко в свойственной ему шуточной манере: «Позвольте вам сказать, Женя, что вы очень приличный человек».

Говоря словами великой пьесы «Дракон», ее автор не позволил себе «вывихнуть свою душу, отравить кровь и затуманить зрение».

Конечно, нам не дано проникнуть в сокровенные глубины его личности, но дневники дают возможность к ней прикоснуться. Помогают этому письма. Из них выбраны прежде всего те, которые обращены к людям, творчески связанным со Шварцем: режиссеру Николаю Акимову — вдохновителю и первому постановщику его лучших пьес, поэту Самуилу Маршаку, помогавшему молодому автору сделать первые шаги в литературе, драматургу Леониду Малюгину, поддержавшему Шварца в эвакуации, кинорежиссеру Григорию

Козинцеву, снявшему по его сценарию фильм «Дон Кихот» — одно из последних произведений Шварца, в финале которого герой произносит слова, отразивших мечту и символ веры автора: «Обман, коварство и лукавство не посмеют примешиваться к правде и откровенности. Мир, дружба и согласие воцарятся на всем свете. Справедливость уничтожит корысть и пристрастие. Вперед, вперед, ни шагу назад!»

Елизавета Исаева

ДНЕВНИКИ
1953–1957 годы

1953 год

9 апреля

Сегодня одиннадцать лет с тех пор, как я веду эти тетради¹. Это двенадцатая. Из них восемь с половиной тетрадей, несколько больше, чем с половиной, написаны с середины 50 года. Мне так несвойственна непрерывность в какой бы то ни было работе, что я все подсчитываю и умиляюсь. Сегодня, в одиннадцатую годовщину, я ровно на половине двенадцатой тетради. Я даже подогунал так, чтобы девятого апреля быть ровно на половине тетради. Первая из них заполнялась пять лет, а теперь выходит так, что в среднем я писал чуть больше целой тетради в год. Но польза есть! О, чудо, — польза есть.

2 мая

Ночью были заморозки, предсказанные по радио.

Тюльпаны, пионы и разбитое сердце закрыли газетами. Когда в шесть утра я выглянул в окно, кустики земляники побелели от инея, но светило солнце. Я стал читать Розанова (последние страницы о «Великом инквизиторе»)² и укрепился в своем выводе. А рассуждения о романском и германском гении и о трех церквах уж до того произвольны, что даже раздражают, хотя в первом рассуждении что-то, вероятно, есть.

Потом я уснул. Семь часов, солнце. Отодвигаю занавеску. В праздники на столбе у дороги говорит радио, что сегодня неприятно тревожит — напоминает лето сорок первого года.